

Пасхальные
рассказы о любви

Произведения
русских писателей

Серия «Пасхальный подарок»

Пасхальный подарок

Сборник

**Пасхальные рассказы о любви.
Произведения русских писателей**

«Никея»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

Сборник

Пасхальные рассказы о любви. Произведения русских писателей /
Сборник — «Никея», 2019 — (Пасхальный подарок)

ISBN 978-5-91761-956-9

В этой книге собраны невероятно трогательные пасхальные истории о любви, которые никого не оставят равнодушным, ведь именно любовь помогает людям раскрыться во всей творческой полноте и красоте. Жажда любви вдохновляет, расширяет сердца до возможности увидеть невидимое и выразить невыразимое, но иной раз и ослепляет. И все равно люди ждут любви, как чуда. И это чудо иногда приходит...

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-956-9

© Сборник, 2019
© Никея, 2019

Содержание

Александр Левитов (1835–1877)	6
Накануне Христова дня	6
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Пасхальные рассказы о любви. Произведения русских писателей Составитель Татьяна Стрыгина

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р19-818-0658, ИС Р15-422-1888

Авторы:

В. Авсеенко Л. Андреев А. Будищев

Н. Гарин-Михайловский

Н. Гейнце

З. Гиппиус

Н. Каразин

П. Карташев

А. Куприн

А. Левитов

Н. Лухманова

И. Савин

А. Севастьянов

Ф. Сологуб

М. Цветаева

А. Чехов

Ал. Чехов

И.Шмелев

Содержание

Александр Левитов

Василий Авсеенко

Иван Савин

Александр Левитов (1835–1877)

Накануне Христова дня Повесть

На дворе стояло то доброе время, которое зовут весною. Давно уж Алексей, Божий человек всю воду с пригорков в долины согнал, и разлилась она быстрыми ручьями по чернозему необъятных полей, канавы придорожных насыпей вплоть до краев собою наполнила и даже большую дорогу, так и ту всю собою залила. На сельские улицы, без понукальщицы нужды, выйти было нельзя, потому что, в полном смысле, реки стояли на них, и если к соседу за солью нужно было сходить, так лодка надобилась. Мальчишкам мужицким это и на руку: в чаны да в лотки мукошейные гурьбами насажались да и показывают, как в старину атаманище страшный – Стенька Разин – город Астрахань брал. Известное дело: многим из них очень явственно приходилось узнавать, как этот злодей атаманище народ православный в реке Волге топил, потому что флотилия Стеньки была, я думаю, несколько понадежнее корабликов их.

Того буря да пушки потопить могли (да лих-беда не топили!), а лоток, чуть лишь с чаном столкнется, ну и ко дну пошел вместе с разбойниками этими, бесшабашными удалцами восьмилетними! Как хотите, а уж тут рубашонку нужно бы переменить, да на теплой печке погреться бы следовало; ан нет – не туда глядишь! Поди-ка ты к матке чучелой таким, с маковки до пят грязью да навозом облепленным, так она небось не пожалеет белые руки свои драньем мокрых вихров натрудить. Так где уж тут к матке на беду свою великую жаловаться да скорбеть идти? В пору б только до гумна успеть добежать, чтоб она не видала. Самому там можно в старую солому зарыться, а рубашонку на яблонь повыше повесил, так она, стриженная девка косы еще не успеет заплесть, уж и высохла.

Так вот видите, как солнце-то припекало: снега, надо быть, поскорей с земли хотело согнать, потому что Бог пору такую послал, когда Он травке всякой на свет Его Господний показываться велит.

А назади дворов, где раскинуты были огороды, видно было, как пары густые такие да столбами такими высокими в небушко поднимались, ровно тысяча изб в одно время топились (так они чистое небо весеннее затуманивали!); а солнце все-таки лучом своим насквозь их прохватывало, и временем можно было подумать, что столбы те огненные, что не свет солнечный в тумане этом блестят, а что это дым и пламя несутся в небо от жертвы, которую Богу земля сожигала за то, что Он послал ей весну благодатную, цепи с нее зимние снявшую...

Ну и воробьи опять стадами эдакими, штук ста в два и побольше, на избы, на деревья, на риги расселись и чирикают! Рады беззаботные Божии птицы, потому, первое дело: тепло, ветер морозный жидких перьев не дергает, а второе: всякое зернышко на земле издали видно, слети да и клюй, не то что зимой, ищи его там по сугробам великим, зноби ножки тоненькие, да, пожалуй, ничего не нашедши, и до гнезда-то своего, голодный, долететь не успеешь, сразу вверх ногами мороз перекувыркнет.

И все это на селе чего-то ждало словно, потому Страстная Суббота была – день печали великой и пощения святого. Седые головы старых большаков и боыначих частенько-таки окошечками выдвигаемыми постукивали, на солнышко всё на ясное поглядывали: когда-то ты, мол, солнышко, закатаешься? Потому, от самой Страшной Середы до заката солнца субботнего всякий честной христианин, а паче блюстител и глава семейства, кроме пятаковой просфоры, есть ничего не моги. Ну оно и того!.. Хоть и теплом пригревает, и лучом солнечным землю подсушивает, а все как-то нет-нет да на небушко и взглянешь, да грешным делом и слабость

тебе тут на ум взбредет: хоть бы, мол, сумерки поскорей наступали, звездочки поживей бы показывались, по крайности тогда редечки с кваском хоть бы маленечко похлебал...

На три добрых версты растянулось село, о котором говорю я. И как чудно растянулось – сказать невозможно. Истинно, что ни складу ни ладу. Говорили про него соседи-мужики шутки ради, что дед его будто из лукошка горстями посеял. Только на самом плане один кабак и стоял; с какого конца в село ни въезжай, отовсюду елка виднелась – и уж ты эту самую елку ни на каком кривом коне, все равно как суженого, ни за что не объедешь. А про избы мужицкие уж и говорить нечего, потому одна из них на самую дорогу, почитай, выпятилась, всякому проезжему сказать ровно хочет: вишь, хозяин-то мой прошлым годом меня новой соломкой прикрыл да крепкими плахами заново разваленный угол подпер; а другая-то с красной улицы от стыда, надо думать, на огород убежала, потому развалилась совсем, одни только навозные завальни ее и поддерживают. Посмотришь на нее так-то попристальнее, видишь, как это она крышей своей растрепанной, головой словно горемычною, машет: нет, говорит, уж куда нам на дорогу-то выходить на людскую?... Нам бы вот ближе о плетень да об верею опереться да без поправки еще годик-другой простоять. Дальше глядишь – и болото тут расстилается, такая трясина непросушная, что уж на что чушки, а и те в нем в самое жаркое летнее время до смерти закупаются; а за болотом густые ветлы стоят, высокие озерные травы растут (видимо-невидимо в тех травах и деревьях живет разных птиц); а за ветлами садик какой-то аршинный раскинулся; вся его загородь цветами разными как будто бы заткана, так что чуть-чуть лишь виднеется из-за этих цветов гладко причесанная, словно золотая, соломенная крыша какого-то домика-клетки. Выстроила себе эту клетку красная девица – святая черница, обо всех нас грешных богомолица, нарочно в таком тихом месте, чтобы спокойней было молодое сердце ее, людского соблазна не видючи, суетой их грешной не прельщаячусь...

Никто не мешает, строй, где хочешь и как знаешь! Прост на этот счет у нас волостной голова. «По мне, хоть камыш выжни на острове, да там и селись», – говаривал старик. Птица уж на что глупа, а тоже на старое гнездо прилетает, – значит, она его облюбовала. Поэтому слободской поп всю дорогу палисадником своим и загородил – новую уж дорогу-то через Аринин огород проложили. Огурчики там у него на грядках растут, розы разноцветные на длинных стеблях своих журавлями длинноногими раскачиваются, толстые тыквы плетями своими весь плетень заплели, да хорошенькая дочь по тому ли по зеленому садику частенько похаживает, свою девичью кручинушку разгуливает. Красиво у попа в палисаднике было – словно в раю каком!

Поповым палисадником оканчивалось село. За ним уже начинался посад¹, который во времена оны назывался острожком, несколько позже фортецией, а в настоящее время одни только мужики, без всякого, по-видимому, основания, продолжают с упорством обзывать его городом, а изредка даже и крепостью. По сбивчивым и до крайности темным сказаниям, ходящим в народе, в крепости этой стрельцы да казаки пограничные от татар и от своих разных воров отсиживались, в Елец да в Рязань их, разбойников, не пускали. И после уж, когда этот острожек фортецией назван был, когда могучая рука, всему миру известная², из липецких дебрей стуком топоров, рубивших лес для воронежского флота, воров и зверей распугала, около этой фортеции мужичишки и всякие посадские люди весьма селиться стали, потому что сторона была очень привольная: горсть посеешь – воза собирай, рыбы и живности всякой – ешь не хочу. И лес тут же под руками стоит – такой соснячище, что и теперь еще посмотришь, так шапка со лба валится. На пятьсот верст, сказывают, вдаль пошел – много в нем солдатиков беглых и разных бесшабашных голов скитаются. Так-то вот и составилась посад, который теперь видим мы и про который так и в книгах записано и на белой дощечке (при въезде на мосту

¹ *Посад* – поселок, часть города, расположенная вне городской стены; предместье.

² *Могучая рука, всему миру известная* – речь о Петре I.

какая стоит) нарисовано: «Посад Чернополье, Черноземского уезда, содержится иждивением слободских христьян». Подлинно не могу вам сказать, кто содержится крестьянским иждивением – мост ли один или весь посад? Должно быть, и тот и другой, потому что ежели бы не было, так сказать, приделано к посаду села, о котором я сейчас говорил, то мещанам и купцам посадским совсем некого было бы надувать, и, следственно, как мост должен был непременно развалиться, так и самые торговцы с голоду неизменно бы померли.

Имеется надежда когда-нибудь рассказать вам не только про то, каков посад этот в настоящее время, а даже и про то, каким он в старину был. Все про него со временем расскажу я: как он вырос на безлюдной степи, как валом высоким обкапывался, грудью облюбованную землю как широкою отстаивал. Потом как по тихому Воронежу подплывал к нему на войлоках колдун и разбойник Наян, как он его полоном великим полонял, жен и детей убивал, а молодых к шайке своей безбожной привораживал, как после этого полона царь великий на фортецию с милостями своими царскими наехал и заново всю ее отстраивал – про все расскажу. А ежели ж по своей великой лени я старые посадские времена как-нибудь промину, зато уж новую нынешнюю его жизнь опишу непременно, потому что все эти недостатки и перехватки мещанской жизни хорошо мне известны.

От недостатков-то этих, а пуще от перехватков, по диким степям могучие силы изнашиваются, широкие груди, с которыми под раскрытыми мещанскими избами люди рождаются, скоро иссушиваются. Под одной из таких-то растрепанных крыш (стащили мы с ней гнилую солому в голодную зиму на корм коровам), вместе с белобокими касатками и серыми воробьями, вырос и я. В такой-то избе, помню я, убивалась и плакала мать моя о том, что ни мужу, ни ей работы нет, детям хлеба нет, а недоимки и сборы разные есть. Из этой избы несли ее, бедную, тяжелым всегдашним страхом за судьбу детей истерзанную, на тихий погост наш, весь заросший высокой травой, весь закрытый густыми ветлами да ивами раскидистыми...

Бог с тобой, душа богомольная, праведная душа! Не знаю, как и отчего ты не умолила Бога, чтобы не видать мне еще, к моему великому горю, как из этой же самой избы, по отцову приказу, пошла за немилого замуж дочь твоя любимая, дитя твое скорбное, забота твоя болезненная?..

Много их – этих неизбежных принадлежностей мещанской жизни, тут их всех не упишешь... Да и писать-то про них не место здесь, потому что про Липатку, чернопольского дворника³, говорить теперь нужно.

Жил-был, изволите видеть, в Коломне мужичок некий, по части вырезывания кур из садов проезжих курятников безуданно он занимался; только однажды извозчики подкараулили его на работе да на своем самовластном суде так его урезонили, что он от резонов тех чуть-чуть не пошел в мать сыру землю. Полтора дня на одном месте, без всякого чувства, как собака лежал, и, как теперь сам он полагает, знакомый человек ежели бы его с места этого проклятого не перетащил на другое, очень в это время околеть бы мог. И думает Липатка после встрепки-то: больно уж под Москвой ноне народ прозорлив стал, ремеслом своим, выходит, займываться никакими то есть манерами невозможно, – душу на нем свою, пожалуй, загубить не мудро. Так-то и выдумал он: дай, говорит, в степь махну, недаром, мол, про нее говорят: дурацкая сторона. Коли она вправду дурацкая, так я там, по своей уловке, завсегда прокормиться могу. И пошел он в дурацкую сторону сам-друг с женою (лихая бабенка такая, Феклушкой ее поначалу-то в Чернополье у нас величали); а про Чернополье-то он прежде от знакомого красноярца слышал: глухая сторона, дескать; завсегда там музланов этих, лапотников, без всяких обиняков надувать можно. И держит наш Липатка путь прямо в Чернополье, – верст за пятьдесят от него подводу нанял, чтобы то есть приехать туда не только какой-нибудь шаромыжною, а с форцем, как подобает всякому торговому человеку. Приехавши-то, возьми Липатка да к

³ Дворник – здесь: владелец постоянного двора.

мещанину одному и пристройся (больше все вином он того мещанина объезживал, падок тот человек на винище был); да двор у него постоялый и сними.

Однако ж, надо полагать, не шибко бы он на свою коломенскую семитку расторговался, ежели бы, на счастье его великое, не случилось в Чернополье такого дела: купец тут у нас один жил, и долго жил; а тут, как нарочно, только Липатка приехал, он взял да и помер. Сынишка после него остался (вот ведь купеческий сын, а имени другого никто ему не давал, кроме как Никишка). И был этот Никишка в годах уж: лет тридцати, должно быть, а может, и больше, потому говорю так, что детишки у него довольно-таки крупненькие в это время по улицам бегивали.

Вот ведь говорят же люди: каков поп, таков и приход, каков отец, таков и сын. Нет, видно, и у хороших попов плохие приходы бывают, а у отцов хороших сыновья дурные живут. У хорошего было отца Никишка родился, однако ж, правду сказать, дурака такого беспримерного искать да искать надобно было. Только слава, что купец, а купец-то этот ни в дудочку, ни в сопелочку. Покуда молод был, учивал его знатно отец – вся, бывало, рожа-то в синяках; а тут, как подрост, туго тоже от него старику приходилось. Рассказывают, коли не врут, не раз батюшке родному сдачи давал – сынок-то.

Развязала молодцу руки отцовская смерть. И на ту и на другую сторону почал он отцовское именье раскачивать. Вот уж справедливо пословица-то говорит: всем сестрам по серьгам. Не токмо что серьгами, а и капиталами от него великими пользовались черницы наши. (На огородах тут у нас живут разные эдакие девки, отшельницы аки бы, – и точно, что иные из них примерной жизни девицы.) А Феклушка-дворничиха, жена-то Липаткина, в это время во всем цвете была. Сядет, бывало, на крылечке в кумачном сарафане, душегрейку с разводами шитыми наденет, фуляром желтым накроется, да словно картина какая писаная, и сидит себе, семечки подсолнечные погрызывает, веселые песни поигрывает. И так она те веселые песни забористо игрывала, что не только что медных, а и серебряных, кажется, жаль бы не было отдать за них, потому разливалась она все единственно, как теперь соловей-птица темной ночью весеннею под кустом поет. А Никита целый день, бывало, мимо крыльца на рысаке, все равно как молния, жжет: наших, мол, знай, Фекла Ивановна! Ты вот такое-то деревцо срубила б себе – купца-молодца! Ну-кась, говорит, к Липатке-то своему приравняй-ка нас; ан, мол, отмену-то сразу увидишь.

И таким побытом дело это долго шло; а там, глядь-поглядь, Никишкин рысак целый день торчит у Липаткина крыльца.

Часто это, бывало, починала Феклушка на своем коломенском наречии разжигать Никиту Парфеныча.

– Эх, – говаривала она, – Никита Парфеныч! Насквозь тебя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позабавиться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели взаправду-то любишь, дай взаймы рубликов пятьсот на торговлю.

– Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублей на ветер бросил, тогда бы по крайности я то удовольствие получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой такой богатый купец я есть – по пятисот на ветер бросает.

– А говорит, что любит, – пытала его Феклушка. – Да ежели бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази, ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбовника, потому не люблю Липатку, – сам знаешь, какой он шут пучеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай. (А чего там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка орудовал.) Я вот Мишку Гривача полюблю, уж Мишка не тебе и не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак – и хоть што хошь он делай, от себя

его не пушу. – И на самом Никите Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.

– Я, – говорил Никита, – я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.

А и змеигца же подколотная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков приводить, у нас такой никогда и не видавали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)... Обовьет она, бывало, дурака-то степного – Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масляные, так и светились, кошачьи словно.

В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан – удалыцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, – ну, удалыцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!

Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеныча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Пробовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выделявать, да немного этим товаром наторговал, – в пьяном образе с моста в реку бросился. «Что, – говорит, – без капиталов за жисть! Характеру, – говорит, – моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить – баран из него шути добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни, когда на посаде бывает базар, ходят они – внуки миллионщика – да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии – мать их – полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.

Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть – и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчмя головой полетит, – только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, – и тут уж ты над ним смейся, сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.

Вглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так смеху-то на свете сколько бы было!

И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, – старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются...

Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семенычем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее пробережешь, тем дольше на верху колеса счастья продержишься. Верно!

И стал наш Липат Семеныч в это время обеими руками жар загребать, – зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошаадьми-то, и сады стал снимать, а главное, у помещиков погорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно

подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, – и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребке делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто, словно бы от кузнечной работы... Многое разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Ивановну немецкими платьями изукрашивает.

Только как же это у Господа истинно оказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Всё теперь проведали, всё разузнали – и правда, что неизмерима жадность человеческая, аки омут глубокий речной – все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.

Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный народ! Много этот народ, изпод матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)

Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один – владимирец – на постоянный двор въезжать! Знали мы его все в Чернополье, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный – облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать: а молодому дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела – тертый был. «Ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег люби, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают...»

Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись немало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, – и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как то есть он получает ее деньги с него обирать.

Здорово тут владимирец разными обвиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабы, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.

Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбрело, – все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать. «Что? – говорит. – Сколько?» – «Да ничего», – Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз-другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один понапрасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь...» Богобоязлив был очень...

Как ни благополучно, однако ж кончилось у них дело это, – припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!

Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать – и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слыхал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, – спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.

– Господи! Кого в такую пору леший принес? – догадывается Липатка сквозь сон.

– Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, – полагала Феклушка.

– У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая – мужа отпирать посылает. Ты зачем работницу отпустила?

– Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена иди дверь отпирать – как же?

– Не бреши, отопру пойду, – сказал Липатка, и так-то ясно заблестал свет серной спички, которую зажег он.

Пустырь-пустырем глядела изба постоянного двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, – на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью кап-ли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то – и пойдут тут к тебе в голову разные думы... и тишина это такая в избе стоит, – не жукнет никто, кроме как капли эти всё об кадушку стучаются: «бум», словно кто щелчком в оконницу стукнет, да, погодивши немного, опять: «тум-м», окажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице – тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что посмотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гонятся, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)... Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силишься покрепче заснуть, чтобы не слышать и не видеть ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит...

Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит. «Пусти ночевать!» – орет, ровно уж там, на улице-то, светопреставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать, леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе, и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще наддаст; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, дворы постоянные держат всё больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, – ослепнуть можно, глядя на них.

Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, – потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скачут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы глядят – и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И черт тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечье, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то

он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, Божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унизал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче Божий, что у меня, сатаны, дело такое есть – людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвести во всех царствах плач и стенанье большие, потому начальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями трехвостными сечь; а мужики, тоже поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут – и будет от того шум и смятение большие – моему дьявольскому сердцу потеха и послуга немалая...» Не стал с ним ничего больше разговаривать старец Божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин вглубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод Господь Бог им послал; а прежде того, на моих еще памятах, у нас по степям картошку и тыкву чертовым яблоком обзывали.

Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно напоказ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто

случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной гибели спасти...

И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидел ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, – дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корчма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий – чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая, – и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, мать, может, снится ему, ласки красавиц сестер, и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических...

Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.

– Отпирай, Липат! Ай гостям не рад?

Слышно было, как на улице засмеялись после этого, – чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.

– Господи! – потихоньку шепчет Липатка и крестится.

И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, – руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстился.

Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега почитай все уж стаяли, как кое-где зелени показались такие прекрасные (Господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.

Немалое время сидят они за столом и благодушествуют. И уж про все свои последние торговые похождения Липатке владимирец рассказал, и историю еще рассказал, от одного барина слышанную (а тот ее в газетах будто читал), как король какой-то ненашинский тайному совету своему велел было такой указ написать, чтобы желающим можно было на трех женах жениться,

и уж послушался было тайный совет короля и указ изготовил, да королевна, жена его, выходит, развела как-то про это дело, так таких, рассказывают, мужу нотаций начитала – жизни не рад был, а тайный совет попросту на конюшню весь отослала. Так по-прежнему в этом царстве все дела и пошли опять – больше одной жены иметь никто не могли...

Было чего послушать, когда, бывало, владимирец на постоялом дворе говорить почнет; однако ж Липатка плохо что-то слушал его – и только Фекла одна на него пристально всматривалась. Хотелось бы ей другу милому любовное слово с глазу на глаз сказать да ласку от него получить, а Липатка, как назло, словно шут его к одному месту навек пригвоздил, из избы ни ногой. Сидит он, как-то об стол руками, словно нехристь какая, оперся, бороду на них положил и хмурит брови густые да шершавые (все равно как у колдуна какого, вместе брови-то срослись у него!), – морщины на лбу вырезались, а глаза, будто ночью у кошки, так и светятся.

– Что, Липат, запечалился? – спрашивает владимирец. – Аль жена любить перестала? А ты бы ее за то не легким – тяжелым, дубовым поленом, да все по коленам.

– Что ты, что ты, касатик, – перебила Феклушка. – Ты его этим статьям не учи. Он эти статьи сам знает.

– Ай бы нам выпить? – вернул свое слово Липатка.

– Не грешно ли будет? Праздник-то завтра не маленький.

– Кто празднику рад, тот до свету пьян.

– Приятно вашей речи хорошей послушать, – согласился владимирец.

Выпили.

– А со мной (недели с две уж прошло) какой случай мудреный вышел, Липат Семеныч, так сколько я, примером, дорог изъездил, а такого ни разу еще со мной не бывало. Едем мы, братец ты мой, проселком, на четырех подводах, в господский дом один пробирались (важный дом такой, без пятисот серебра никогда я из него не выезжал). Два работника были со мной, а ночь эдакая темная: зги не видать. Таковую грязь дождь замесил, что ничего ты с лошадьми не поделаешь, да и только. Таково тихо ехали, инда душа изнывала. Вдруг работник и закричал (с задним возом на ряду шел): «Сюда, говорит, вора поймал!» А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена, и щекатулка моя в ней стояла. Екнуло у меня сердце, ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили; а сам к возу-то со всех ног и бросился. Гляжу: работник вора-то ногами топчет, а тот уж хрипит только (дрянной такой мужичишка, маленький да тщедушный). «Погоди, – говорю работнику, – не бей, становому представим». – «Что, – говорит, – тут уж годить? Нечего тут годить, с одного кулака совсем сшиб, а еще воровать лезет, дрянь эдакая, дома бы на печи с своей силой сидел...» На другой день, братец ты мой, как мы назад воротились, все на этом же самом месте покойник лежал. Жаль мне таково стало его и страшно, потому душа моя, грех хоша и по неведению сделанный, а участвовала и боязно так ужаснулась.

– А ты его в поминание запиши да свечей поставь, – мрачно советовал Липатка. – Оно не в пример спокойнее будет...

Боязлива же была Феклушка-дворничиха. Все равно как камень рудниковый побелела она, историю эту слушаючи. Переглядывается она потихоньку с владимирцем и молчит, потому что про смерть, известно, не любят бабы по ночам толковать, и владимирец молчит, и Липатка молчит. Задумались они все, словно в печали великой, – как в гробу, тихо было в избе, только Липатка по временам тяжело вздыхал да сверчок покрикивал изредка; а с улицы, сквозь толстые ставни, не долетал в избу даже шум ветра ночного.

– Уж не докончить ли нам посудину-то? – осведомлялся владимирец, наливая себе водки. – Семь бед – один ответ.

– Что тут доканчивать-то? Рази мы еще не достанем? – ответил Липатка и вышел.

– Любовный ты мой! Небось уж ты забыл про меня? – спрашивала Фекла владимирца.

– Не моги пустяков толковать. Рази не сказал тебе: завсегда любить буду – и спрашивать у меня об этом, смотри, никогда не спрашивай. Очень уж я ваших бабьих расспросов терпеть не люблю.

– Приехал только, а уж сердится; а я все об твоей ласке думала, желанный ты мой, во сне тебя каждую ночь видела.

– Отойди ты от меня подальше, – уговаривал ее владимирец. – Не знаешь рази, какой праздник завтра?

– Ты только одно слово скажи...

– Отшатнись, Фекла! И так греха много.

А в сарае, где свалено было сено, там тоже своим чередом другие дела шли.

Запер за собою Липатка изнутри дверь сенницы, фонарь над головою высоко поднял и смотрит во все стороны – ищет как будто чего, а сам шепчет: «Куда это они запропалились? Не найдешь их тут, а громко кликнуть нельзя, – услышит, пожалуй, кто-нибудь».

– Ребята? А ребята? – вполголоса кличет он. – Куда вы тут запропалились? Спите, что ли?

– Што? Ай с обыском пришли? – послышался пугливый голос из угла сенницы, из-под сена. – Народ-от есть на огороде – не знаешь? А то мы бы сквозь плетень к реке побежали, да в лес.

– Какой там обыск? Дело вышло такое, ребята, богатое. Не робей только. Слышь: дело какое, – продолжал Липатка, – только ты разбуди шута-то своего. И што это он у тебя за безобразный такой! День спит, ночь спит. Когда он у тебя выдохнется только? Того и гляжу: обоспится он тут у меня до смерти – благо место нашел спокойное да теплое.

– Не сердись, Липат Семеныч. Я вот его сейчас разбужу. Ты, голова, проснись. Становой с обыском пришел.

– Становой? Где? Я вот щель прорезал в плетне. Лезь скорее, да к реке, да в лес.

– Вишь запасный какой! И щель уж припас. Испорть у меня плетень, я те шею-то порядком нагрею. А ты слушай, какое дело идет.

– Дело? Какое дело? – торопливо спрашивал охотник до сна.

– А вот какое: купца одного зашибить надо... Деньжищев гибель, – с выручкой к празднику домой едет. Один как перст, ямщик дальний какой-то привез, и тот назад уехал.

– Ох, Липат Семеныч! – сказали в один голос ненавистники обыска. – Не бывали мы еще ни разу в этих делах.

– Я сам не бывал, да надо же когда-нибудь, потому одно слово: деньжищев гибель...

Страшный крик вырвался из Феклиной груди, когда она увидела мужа с двумя лихачами, которым сама она, в отсутствие Липатки, неоднократно приют давала. Женское сердце сказала ей, что за погибелью близкого ей человека пришли эти люди. Стала она впереди владимирца, а уж мужнины глаза, что, бывало, в трепет ее приводили, не пугали ее в это время.

– Што вы? Зачем сюда пришли? Народу сейчас назову, – страшила Фекла и лихачей и мужа.

– Что ты! Что ты всполошилась, Фекла Ивановна? – спрашивал ничего не подозревавший владимирец.

– А вот что, – Липатка ему говорит, – Богу молись. Час твой последний пришел.

Волосы на голове у владимирца дыбом поднялись. Так и обезумел он, потому что все равно как дубиной грянули его Липаткины слова, – так и присел он, и не только чтобы оброниться как-нибудь от злодеев, одного слова долгонько-таки промолвить не мог. Однако ж, когда кровопийцы подходить к нему стали, опомнился.

– Так ты такой-то, Липат Семеныч? Ну, – говорит, – держись же и ты у меня, разбойник проклятый. Гуляй, – говорит, – купеческий кулак, не давай, – говорит, – меня живым в руки! – И к двери бросился, натиском крепким сбить с крюков ее думал.

И такая тут свалка пошла. В ножи владимирца лихачи приняли, а Липатка Феклу душить бросился. Раза два только успела вскрикнуть Фекла – периной ее муж, как курицу, придушил.

– Братцы! Помолиться в последний раз дайте, – умаливал израненный владимирец, но зверей до беспамятства отуманила свежая кровь человеческая. – Эх! Не доехал до дома – с батюшкой, с матушкой не простился! Вот оно где умирать-то пришлось мне. Господи! Прости мне грехи мои тяжкие – в Царствии Твоем душу мою помяни, – расстановисто твердил молодой купец, расставаясь с ясным светом Божиим.

К заутрене на посаде во всех трех церквах в один голос ударили.

Сколь бы много ни сделала грехов на сем свете душа человеческая, говорит народ, а непременно она удостоится спасения, ежели Бог благословит ее умереть во время Светлой заутрени, потому что, к великому несчастью людскому, случилась эта самая история накануне великого дня Христова.

И в этот раз, опять-таки говорит народ, в это время святое враг не в пример лише, чем когда-либо, с соблазном своим на слабых людей наступает...

Говорится: глупому сыну не в помощь богатство отца. Справедливо это говорится. Йоты одной из закона Господнего никогда мимо не скажется. Сказывает также этот закон: зло приобретенное зле и погибает. Истинно!

Вот ведь он жил, этот Липатка-то, разные злые дела делал, и видели вы, какая память осталась по нем в Чернополье. Гниет он теперь на чужом кладбище, и только старики про него изредка сквозь остальные зубы шамшат, да мальчишки временами орут, как он, по сказам, из темной могилы выходит и нашу тихую полночь своим воплем пугает. Вот сколько оставило время от грешного дела.

Ох! Много уж чересчур всяких хороших дел вместе с другими покрывает собой это время! Без следа, без самых малых примет выметает оно из наших степей вместе с худом много добра старинного. Тошно становится нам, степнякам, жить без нашего добра, потому как ежели время с чем-нибудь новым изредка и налетает к нам, не можем мы никак взять себе в толк, что это новое значит и как нам с ним поступать надлежит... А некому, некому нас поучить, потому в далекой глуши мы живем. Часто иной человек у нас раздумается, разгадается над каким-нибудь делом, – и так и эдак, на разные манеры, над тем делом свою голову богоданную трудит, – только ничего не придумает он (известно, помочи нет тебе ниоткуда), с тем и умрет... На приклад да в осуждение нашей лени сказать: церкви новые у нас не то по селам, а и по городам даже лет по тридцати строятся. То от вышнего начальства указов ждут, то денег нет в сборе, то мастера настоящим делом не угостили, так он здание, по мудрости своей, и заморозит и выше расти ему не приказывает. Стоит так-то она, матушка церковь-то, иногда больше половины состроенная – и леса на ней, и подмости разные привешены. Ямы кругом для известки повыкопаны, кирпичи в кучи положены, – только моет же все это дождь проливной, расхищают недобрые тати церковные, а ветер ночью порою так-то печально гудет в Божием доме, так-то он леса, к нему прилаженные, раскачивает и скрипеть заставляет, что, идучи мимо, перекрестись со страхом и скажешь: «Пусто в доме Твоем, Господи, от недосмотров наших, трава всякая недостойная и плевелы в нем повыросли. Не накажи нас за наш недосмотр! Ребятки наши неразумные почасту играют в нем; не обрушь его, за грехи наши, на их неповинные головы!..»

Часто ж такие-то храмы обрушиваются и много неосторожных задавливают. Не доходят до Господа наши молитвы, потому ныне и к молитвам-то что-то не так мы усердны, как в старину...

Уходит, ох уходит от нас все хорошее, без возврата уходит! Сила какая-то, надо полагать, тайная завелась у нас на степях и, по Божиему попущению мудрому, отнимает у нас старое добро, а новым таким же ничем не отдаривает...

Легко сказать: двадцать лет, а как подумаешь, сколько в двадцать-то лет воды утечет, сколько перемен разных с человеком случится! И все это как-то вперемежку бывает: хоть бы вот теперь в разумение реку взять. Есть у нее, известно, рукава, заливы, озера. Иное лето, смотришь, место ее какое-нибудь все разными травами заросло, навозом да илом его завалило, некуда протечь из него водице, стоит она и гниет; другим летом, глядишь, половодьем большим и траву, и ил, и навоз – все растащило, прочистилось местечко, любо смотреть на него! И с человеком так же: неделю хорошо, другую дурно живет, день плачется, другой веселится. Ну и понятно это тебе, потому смотрел ты на эти дела с малолетства и привык к ним.

А про наши места не знаешь, что и подумать. Истинно, во все свое жителство одно только и приметил, как на них несчастья всякие, ровно дождь осенний, без перерыва лились, и не дает нам Господь в гнев своем никакой пощады. Самые старые люди не помнят, чтобы дождик тот ведром сменился когда. Или бы уж в самом деле говорят, что к Страшному Суду близится время, потому и в росте, и в силе мельчает народ наш – грамоту перенявши, поступает как скот необузданный и в пьянство вдается беспросыпное. Чего у нас прежде слыхом не слышали, то теперь на каждом шагу видишь: дети против отцов пошли, жены мужей, а мужья жен обманывают, у службы Господней по праздникам-то бывают-таки, а уж в будни одних только старушек увидишь. Наряжается молодежь, по будням даже, в платья цветные, в легкомыслии своем почтения никакого старшим не дает и над советами их мудрыми нечестиво глумится.

Так вот так-то! Много, сказываю, всякого, в старину неслыханного и невиданного, в эти двадцать годов влезло к нам в степи и смирную нашу жизнь до самого дна замутило. Погрязли мы в грехах своих и почернели словно. Только что Божий день один по-прежнему, по-старинному, во всей своей красоте сохранился.

С него, Божьего дня, опять и начну рассказывать.

Как за двадцать лет перед этим, канун Христова дня на дворе, а время такое же, какое и тогда стояло, теплое время, на радость да на волю разымчивое. По лугам река разливалась. Разлеялась она, голубушка, так-то просторно – глаза заломит, ежели на досуге пойдешь взглянуть: какое, мол, такое в нынешнем году половодье у нас? Снежины по ней такие-то большие, будто лодки, в обгонку несутся и сверкают боками обледенелыми, ясным солнцем позолоченными. А на льдинах на тех, ровно лес, камыш плывет, и несет река те льдины с камышом вместе и с зайцами, какие зиму в нем проживали, через Дон к дальнему Азовскому морю. Свежестью и прохладой веет тебе в лицо от реки, и сметает с лица эта прохлада всякую копоть, которую зимой в курной избе насидишь.

Господи Боже ты мой! Хотя бы разговор мой про степное житье нескладное как-нибудь в другую сторону повернул и хоть об дне-то Господнем весело пришлось поговорить.

Сидят на завалинке старики, около них внучки копошатся и любуются, как это ясное Божие солнышко землю парит, воду из ней снеговую высасывает, травкой яркой такой сельские улицы приукрашивает и, словно как живой человек, места такие сухие готовит для великого праздника, где бы можно было малым ребятам красные яйца катать и взрослым парням да девкам сойтись – подсолнечных семенков погрызть и после смирного Великого поста друг дружке веселое слово сказать.

На посадском базаре, словно река в непогоду, бурлил наехавший из окрестных сел и деревень народ. Всего больше бабенки горланили. Верст из-за пятнадцати иные притаскиваются к нам на базар потолкаться; самые лютые морозы удержу на них не могут положить. Глупы, бедные! Живут-то они у нас в тесноте да в одиночестве, так им и лестно на народ поглазеть. Сухонькие такие тропки на базарной площади протоптал этот народ, лаптями своими широкими всю ее зарябил. (Как он только в грязь такую непроходную в этих лаптях ходить может?)

Забота у всех немалая на душе лежит: больших денег от всякого хозяина праздник требует. Первое дело: будь ты богат, будь беден, а полведра вина припасай, потому чем же ты попов, когда они с образами к тебе на Святой неделе придут, потчевать будешь? Разве бра-

гой-то твоей домашнею, по бедности по своей, обносить станешь их? Другое дело: без убоины тоже в праздничное время скучно покажется. Не набила степнякам оскомины убоина, хоть и говорят, что у нас на степях скота много, только ж не часто, однако, едим мы ее. Целый год помнишь, какая она такая вкусная, ежели Бог приведет Рождеством да на Святой ею полакомиться. Опять дочь-невеста: платок с тебя беспрерывно к празднику спросит, а то тебе и праздник будет не в праздник, как она целую неделю голосить будет, что вот, дескать, осталась я у батеньки с маменькой для великого Христова дня разуюю и раздетую, не дают мне, завоет, родители милые свободушки красоту мою девичью лелеять, косу русую от работушки расчесывать мне времени нет. Такое-то она тебе напоет, что и скопидомству своему не рад будешь. А там маслица деревянного⁴ тоже беспрерывно (и даже это всего нужнее и спасительнее для христианской души) купить надобно, потому лачужки наши убогие и задымленные тем только о праздниках и красятся, что в переднем углу перед иконами лампадки горят...

Мало, однако ж, за всеми этими нуждами к посадским торгашам приезжий народ заходил. У нас эти торгаши не очень-то разживаются, потому есть над ними в каждом посаде и городе набольший такой (капиталами какой побольше всех сумеет заправиться), который их всех в ежовых рукавицах держит, то есть ни разжиреть им, ни с голоду умереть не дает. Знают они того набольшего и почтение ему всякое отдают, потому может он своего брата во всякое время в бараний рог согнуть, ежели, примером, самая малая поперечка выйдет ему от кого. Оттого, ежели к меньшим-то братьям и навернется какой покупатель, так они его истинно обдерут, потому ежели не ободрают его, так сами они должны с голоду помирать.

Так, говорю, по базару-то так только народ шатался, потому исстари заведено, что уж ежели приехал ты на торг, так мало тебе на нем нужду свою исправить, а и выпить, и походить, и удаль свою показать непременно следует. Подойдет так-то мужичок какой к лавке с куличами, приценится, как и почем продаются они, опробует и пойдет себе с Богом к другой лавке тоже прицениться и попробовать. Тут-то взад ему торговцы всякую брань загибают, а он себе ничего, потому надо же дома на деревне ему рассказать все подробно, когда спрашивать начнут: почем, мол, Иван, на базаре в крепости куличи были? Бабенки – тоже и с девками это бывает – к лавкам с красными товарами подойдут и роются в них. Целые вороха навалит им молодой краснорядец незнающий, а они-то всё щупают да между пальцами трут: не линючий ли, мол, ситец-то у тебя? И ведь не бывает у них деньжонок-то, а обнови-то хочется к празднику: стыдить-то себя перед добрыми людьми старым тряпьем и простой даже бабе совестно ведь. Так она пробует материи-то; и видишь ты, что краснеет она и боится чего-то, а там станет торговец товар убирать, либо штуки ситца, либо платков полдюжины у него и не хватает. Ловят их, бедных бабенок, всегда почти. Больно уж просты они у нас и нехитры! И тут-то базару и посаду потеха бывает. Кроме того, что всё с нее оберут, возьмут – воровским-то – обвешают ее всю, да и водят по селу, показывают, значит, что вот, дескать, баба эта воровка. Случалось слышать, что иные не выдерживали такого сраму и домой назад не приходили уж. Так и пропадет, грешница, словно в воду канет. Поймали тоже – помню я, на Николин день это было – девицу одну дворовую с поличным: двух лещей она стибрила. Невеста уж была, и красивая такая. Прицепили ей рыбу на шею и водят за руки по селу, молодые мещане хохот вслед за ней подняли. И так-то она плакала, так-то убивалась, бедная, и молила, чтобы не показывали ее, не срамили; только всё больше ее на смех поднимали, потому не столько рыба дорога, сколько над взрослой девкой посмеяться хотелось.

– Батюшки мои! Голубчики мои! – вопила она и металась на все стороны. – Ведь не кормят совсем, на одном хлебе, родимые мои, всю зимушку мрем. Ох, пустите меня! Ох, не срамите!..

⁴ Деревянное масло – лампадное масло, непригодный в пищу низший сорт оливкового масла.

– Ладно, ладно! Вот лакомка какая! Хлеб надоед ей, рыбки некупленной захотелось. Вот уже возьмут тебя замуж, воровку...

Только пришла она домой-то, все накинулись на нее: и господа и дворовые. Тосковала, тосковала девка, и однажды на погребнице нашли ее – задавилась...

Таковыми-то зрелищами одними всегда почти и кончалась торговля посадских мещан.

Был у нас на селе кто-то позубастее их, крохоборов, – кто всю торговлю своими руками вел. У нас на степях всегда так-то: только что въезжаешь в какое-нибудь село, сейчас тебе напротив церкви на самом бойком месте дом покажется, объемистый такой дом, двухэтажный. Видишь ты, что тысяч пять на серебро непременно хозяин упрятал в него. Таким-то он медведем коренастым из всей кучи сельских домов выглядывает, что сразу узнаешь: купецкий, мол, это дом. Не жалеючи толстых бревен, рубит его богатый хозяин, и из каких самый дом сворочен, из таких же и забор выстроен. И хоть, признаться сказать, не очень-то мы богатые, на домишки свои тратим денег не слишком-то много, однако в каждом селе, кроме того дома-медведя, другие дома у господ, у духовных, а то у мужичков иных – хорошие есть: а он от них отличие всегда большое имеет. Нету него, например, как у господ и у духовных бывает, чтобы садик какой за ним али палисадничек перед ним был или бы хоть, как у мужиков хороших, дома-то при огородах строятся, при просторных таких огородах, – у иного и пашни-то такой большой нет, – никаких таких причандалов, сказываю, не бывает при нем. А просто возьмет себе такой дом самое привольное место, или на церковном выгоне, или близ большой дороги, при въезде, обнесется крепким забором, крепость какая словно, глухо и гладко соломенными сараями накроется, – и стоит он себе господином, и видишь ты, что над всем селом господствует он, что все он в своих сильных руках держит. Выше таких домов, кроме церкви Господней, ничего во всем селе и не бывает...

Разными светлыми красками расписанные, все-таки бирюками какими-то страшными глядят на Божий свет дома эти, словно бы еще покрепче хотят они около себя забор своротить, словно бы глуше еще охота припала ему соломенными сараями со всех сторон призакрыться. Не в пример страшней тебе этот дом собак лютых, какие хозяином спущены хозяйское его добро сторожить, потому от собак тех можно палкой отбиться, а от злой нужды, которая бедный народ в такие дома загоняет, не отобьешься ничем.

Великую скорбь претерпеваем мы, бедняки, когда нас бедная доля наша в дома те приводит. Хозяева их наши лошадиные труды по своей воле самой завалящей копейкой оценивают. Так мы их лупилами и зовем, тем маленько в горе своем великом и утешаемся только...

Таким-то лупилой у нас в Чернополье Иван Липатыч был, сын Липатки-дворника. Вот и дом его коренастый стоит (такой-то ли неуклюжий на награбленные деньги взнесен!), с лавками и амбарами. Широкие ворота его настежь отворены, потому ссыпка идет хлеба на дворе, а перед самыми воротами на высоких перекладах весы качаются. Эх, жаль, умер Липатка! Кабы да на эти переклады повесить его заместо весов, хорошо бы было, потому, глядя, как родитель качается, не стал бы, может, сынок плутовать да кровь нашу мужицкую пить!..

Тут-то и происходила самая главная торговля. Сюда-то со всех сторон волной необузданной и валил народ. Только и слышно было, что в имя Ивана Липатыча словно в колокола перезванивали. Чуть кто встретится с кем, сейчас спрашивает: куда, мол, родимый? «К Ивану Липатычу, золотой. Недохваточки разные есть». – «Ох, не ходи, пуще зверя лютует. Меня сейчас в три шеи со двора-то пугнул, делов, говорит, очень много».

– Иван Липатыч? А Иван Липатыч? – спрашивает бабенка одна молоденькая и робко за рукав лупилу дергает.

– Ну што ты? – огрызается он на нее, а сам на дворе у амбара стоит, овес от мужиков принимает.

– Я вот яичек тебе в подарок к празднику принесла. Куды сложить повелишь?

– Спасибо. Жене поди отнеси, да не мешайся ты тут.

– А я было вот поспросить хотела тебя: холстинки ты у меня не возьмешь ли?

– Не надо. Ступай, не мешайся.

– А то взял бы, кормилец! Хороша больно холстина-то, тонка уж очень она у меня.

– Ну, ну, давай, – не мешайся. Положи вот тут да на Фоминой за деньгами приходи. – Это уж так, ради одной потехи, сказал Иван Липатыч бабенке, чтобы на Фоминой приходила, потому бабенке сейчас деньги надобились, так он посмотреть хотел, как заорет она, ежели он ей денег не даст.

Точно что бабенка захныкала было и на месте, как коза голодная, заметалась.

– Да как же, касатик? Мне вить сейчас деньжонки-то надобны.

– Ну, ну, хорошо. Не мешай только. Сколько дать-то тебе? Будет три гривенника, што ли?

– А вот я смеряю сейчас. По двадцати с грошиком за аршин положь. Уж ты там сам разочтешь.

– Есть тут мне когда дожидаться тебя! На-ка вот полтинник получи, да не мешай ты тут, а то не возьму.

Рада бабенка полтиннику, и хоть думала она за холстину свою рублика четыре получить, и хоть она все-таки топчется как-то нескладно и головою вертит, получая полтинник, но все же рада, что успела товар свой продать. А тут уж целая куча мужиков и баб стоит, своей очереди дожидается. Без шапок все, ровно перед начальником, стоят и мнутя, с ноги на ногу тихохонько переступают.

– За милостью вашей, Иван Липатыч, Рождеством еще ржицы вам привозил, маленько должку оставалось, – получить бы желательно было.

– Некогда мне с тобой разговаривать. В слободное время толкнись, получишь сполна, а теперь не мешай.

– Надобно нам очинно деньги-то...

– Разговаривай по субботам. Мне, думаешь, не нужны деньги-то? Расходу-то побольше твоего держим.

– Вестимо побольше, – уныло поет мужик, – только ты выручи меня, Христа ради.

– Иди уж, иди поскорей, – шепчут мужику из толпы...

– Батюшка, Иван Липатыч! Снабди ты мне, Бога ради, три серебра! Я тебе вот и заклад принесла, – плачет старуха-мещанка и какое-то старое ситцевое тряпье благодетелю показывает.

– Нет у меня такой суммы. Не мешай, бабка.

– Батюшка! Сына становой в кандалы кует – откупить хочу. Родителя твоего покойного знала. Он мне давал, бывало, взаимишки-то, дай и ты.

– Нету, нету, баушка! Поди-ка ты отсюда, не разговаривай ты пустяков-то, старый ты человек.

– Штобы у тебя и не было их никогда, разбойникTM безжалостный! Штоб вам обоим с батькой с твоим, мошенникам, не видать ни дна ни покрывки, проклятым, – вопит сердитая старуха.

– Ишь, старая, ругается как, – сквозь зубы бормочет Иван Липатыч. – Грех только бранить стариков-то; я бы тебе нос-то утер...

Еще новый проситель приходит. В руках у него пара гусей и новый нагольный тулуп.

– Иван Липатыч, – говорит новое лицо и смеется. – Будьте благодетелем, освободите от ноши. Век буду Бога молить.

– Ну, уж ты мне! – отвечает Иван Липатыч и тоже смеется. – Издалека?

– Будьте без сомнения. В город вчера ходил, так назад когда шел, на дороге попалося. Должно быть, обронил кто-нибудь, ха-ха-ха!

– То-то обронил! Ты смотри у меня, не очень подбирай.

– Без сомнения, осторожность надо соблюдать, потому шея у меня не купленная. Тоже ведь мы бережем шею-то, ха-ха-ха! Прикажите четыре серебра получить – праздник.

– А ты в самом деле береги заговор-то, парень. Четыре серебра! Ишь его расхватывает. На-ка вот получи рубль целковый!

– И на том благодарны. Нам это все равно. Ха-ха-ха! Нам это летошнего снега дешевле. Только нельзя ли у вас под перед одолжиться. На предбудущую службу пошло бы. Не обернусь я рублем-то.

– Будет с тебя в тринку-то поиграть, а то коли нужно что, поди в лавке возьми.

Парень этот, видите ли, с цапанным приходил. Молодцы такие очень занозисты. Им и хозяева-то в пояс кланяются, потому ежели что не по нем сделается, умеют они под купецкие крыши красных петухов запускать.

Обеими руками, как видите, жар загребают Иван Липатыч.

Тут опять пошли у него расчеты с мужиками, у каких хлеб он ссыпал.

– Ты, шершавый, получай, подходи, – говорит ближнему мужику Иван Липатыч. – За семь мер по три гривенника рубль восемь гривен.

– За восемь, кормилец. Гляди, вон на бирке-то сам же наметил.

– Это уж ты гляди да дома с женой считай, а мне с тобой валандаться некогда. Вишь, народу сколько, не ты один.

– Это точно. Только дома я мерял, ровно четверть была, и у тебя давеча столько ж намеряли.

– То-то, то-то, говорю: на печь поди домой разговаривать-то, не в пример тебе теплей будет там. На-ка, получи поди: вот тебе рубль, а вот тебе трехрублевый. Эх, хороша монета-то! В клад хотел было положить, ну, да уж Бог с тобой, огребай деньги: а пятак за мной будет, – после заедешь когда.

– Добавь теперича, Иван Липатыч. Тебе все равно.

– Чудак ты какой – погляжу я на тебя! Давай, пожалуй, с пятирублевой бумаги сдачи. Мне твоего не надобно; душа-то мне всех твоих денег дороже. Ну ступай, ступай поскорее, – давай другим место.

Другой подходит мужик.

– За три четверти по семи рублей, – бормочет как будто для себя Иван Липатыч, – двадцать рублей. Скостить, што ль, што-нибудь? Берешь, берешь у тебя всякую залежь, а благодарности от тебя никогда никакой нет. Ой, малый! Говорю я тебе: оставь ты свой норос собачий. Будешь ты у меня в город с своим хлебом прогуливаться. Сам покупать у тебя не буду и другим никому не велю.

– Можешь ты это завсегда сделать, коли Господа Бога не боишься. Только скостить я тебе ничего не скошу, а за три четверти по семи рублей не двадцать рублей выходит, а двадцать один. Ты мне их и давай.

– Ладно, ладно. Получи-ка поди.

– Еще рубль подавай.

– Ну это ты после приди, а теперь неравно обожжешься. Подходи, ребята, некогда мне с вами разговаривать. Нищую братию обделит еще нужно.

– Рубль, Иван Липатыч, давай. Деньги нужны, – пристает мужик.

– Приди с нищими вместе – два, может, получишь.

– Самому приведи Бог, а мне мое подавай.

– Мне-то когда приведет, а ты-то уж кланчишь, музлан необузданный. Подходите, ребята, скорее, а то все деньги раздам, ждать вам придется.

– Нечего ждать-то – сейчас подавай, – пристает мужик с собачьим нором.

– Подождешь. Сколь ты глубоко в землю-то врыт, не вижу; а на виду-то ты не очень широк, подождешь.

– Не больно ж и ты из земли-то вырос. Деньги, сказываю, подавай.

– Уж заставлю же я тебя, парень, молчать. Засажу я тебя хлеб ссыпанный из амбара по зернышку назад выбирать.

– Много будет. Утрись прежде, а там уж и лезь в приказчики-то.

– Ну, да живет, живет девка за парнем. Есть нечего, зато житье хвалит. Ты вот увидишь у меня, что еще не родился ты, а я уж утерт был. Паренек! Обрати-ка ты лошадь его в ворота оглоблями да хлестни ее раз-другой покрепче. Может, она поумней своего хозяина выйдет: третьего не дождется, домой убежит...

– Своих хлестай, а мою не трожь, – говорит мужик и хозяйского парня отпихивает. – Погоди, сам уйду, деньги только дай получить.

– После посева получишь, когда новые вырастут, а теперь у меня одни только старые монеты остались. Хлеши, малый, лошадь-то, видишь – некогда.

Малый хлестнул лошадь, и она как угорелая бросилась со двора.

– Разбойники, душегубцы вы преисподние! Когда вы разбойничать перестанете? – закричал мужик.

– Што ты разорался, суконное рыло?

– Деньги подавай.

– На! Вот тебе, волк ты несытый! Широка у тебя глотка-то, я ее засажу! На! Вот тебе, вот тебе! Будешь ты у меня купцов разбойниками обзывать.

– Батюшки! Караул! – раздалось по всему посадскому базару.

– Вот тебе за караул еще, скалдырник⁵ ты эдакой! Для праздника великого руку-то с тобою осквернил...

Со всего базара сбежался народ и смотрел, как Иван Липатыч мужика бил. Все он ему лицо в кровь избил и со двора взащей вытурил. Не буянь, говорит...

Правду сказать: глуп наш степной народ. Вот хоть бы этот мужик. Ну чего он перед хозяином бодрился? Только что для праздника согрешить его вынудил, да себе эдакую благодать получил по салазкам...

Такие-то обороты торговые чуть ли не каждый день на дворе Ивана Липатыча совершались. Многих он мужиков, какие уж очень к нему за деньгами пристают, смертельным боем бьет, затворивши ворота.

Да оно, пожалуй, и запирать ворот не следует, потому никто не пойдет заступаться. Исстари у нас это ведется: без всякой опаски богатые бедных колотят, да еще так тебя нужда-то пригнет, что ты же его благодарить станешь; спасибо, мол, что уму-разуму поучил.

Вот и прошел день в таких хлопотах. Близится к празднику время – и ждут его все не дождутся. Ребятенки то и дело у матерей спрашивают:

– Скоро ли, мама, молоко и красные яйца с колокольни слетят?

– Скоро, скоро, – отвечает мама.

– А может, они прилетели уж? Ишь вон сколько наставила ты молока и яиц. Дай-ка мне чуточку. Я бы покуда отведал.

– Грех теперь про это говорить. Спи, поди, завтра после обедни всем накормлю.

«Господи! Когда же это обедня-то начнется?» – думает нетерпеливый ребенок и в думе своей засыпает, а во сне снится ему, что отошла уж обедня и кормит его мамка всеми скоромными снадобьями, за которыми она просидит до самой заутрени.

Темная ночь накрыла собой и посад и село. Никого на улицах нет, только старые старухи сельские по улицам грязным чеботами своими праздничными хляскают. Отправляются они в церковь на всенощное бдение, чтобы послушать Деяния апостолов святых. Радостно умиляются их старые души, когда в ночной тишине слышится им про Воскресенье Христово

⁵ Скалдырник – скупой, жадный человек (разг. сниж.).

пенье святое, которое на папертях базарных церквей слаживали молодые мещане к завтрашней службе великой.

Двум младшим братьям своим, молодым, еще не женатым парням, и всему семейству своему в такой час ночной Иван Липатыч такую речь вел:

– Сказать вам не могу, други мои, как умирал страшно покойник тятенька Липат Семеныч. Три дня и три ночи в предсмертной болезни страдал он – все не мог с душой своей распрощаться. Только часа за два до смерти подозвал он меня к себе и говорит: «Будешь ли помнить, Иван, что я скажу тебе?» Буду, мол, тятенька. «И исполнять будешь?» Буду. «Ну, – говорит, – помни и исполняй, а не то нет тебе моего родительского благословения, и да будешь ты от меня отныне и до века анафема-проклят». Ужаснулся я и слушаю, а он и говорит мне: «Сколь бы долго или мало жития твоего на сем свете ни было, всегда ты, говорит, последнюю копейку убей, а заповедь мою исполняй: всякий год, накануне великого дня Христова, покупай ты, говорит, украшение какое-нибудь для церкви Господней и тайно, чтоб никто из посторонних не знал, то украшение в Божий дом и подкидывай, потому великий я грех в этот день тайно от всех людей учинил. Детям своим под страшным закланием накажи, чтобы они на вечные времена помин по моей грешной душе неуклонно творили. Из могилы, – говорит, – выйду я и замучу того, кто слова моего не исполнит». По такому тятенькину приказу я каждый год поступаю и вам тоже приказываю, чтобы не погрязла душа моя в проклятии родительском. Нака вот, братец, подкинь поди на паперть церковную ризу парчовую да кадило серебряное. А вы, – обратился он к домочадцам, – подите сюда. Получите вот и между заутреней и обедней нищей братии Христовой за упокой дедушкиной души раздавайте...

Ровно в двенадцать часов на всех посадских церквях плошки зажглись и в колокола к заутрене зазвонили.

Бабы-домоседки все до одной на улицы высыпали – час тот караулить, когда, по стариковским рассказам, будет радоваться светлому дню Христову и на небе играть Божие солнце...

– Христос воскрес, милая! – говорят друг дружке соседки.

– Воистину воскрес, родимая! Видела, мать, как солнце-то в небе играло?

– Как не видать, голубушка, – видела. Все видела, как оно там, словно молния жгла, – разными огнями самоцветными жаром горело...

– Истинно, что прозорливы душевные очи у людей простых и сердцем невинных! – говорил в этот раз чернопольский священник. – Божья благодать невидимо для нас, грешных, радости райские в души их посылает и восхищает их дух. Многих, под строгим испытаньем, спрашивал я: правда ли, что видят они во время

пасхальной утрени солнце играющим и веселящимся будто? Все они мне говорили: истинная правда, батюшка! Сподобил Бог радостью сей насладиться...

Велик Господь в праведном гневном Своем. Он, как говорят духовные люди, за грехи, отцами сделанные, детей их, даже до четвертого рода, наказывает. Укрылась грешная Липаткина голова в этом свете от осуждения и наказания человеческого (вот и думай теперь, сколь справедливы бывают людские слова, в которые мы про братьев своих, по своему слепому уму, перезваниваем), только ж нашли светлые Божьи очи, на кого за грех этот наслать пламя Свое палящее.

Попалило это пламя всех детей и сродников разбойника даже до последнего малолетка, словно как в лютый пожар лесной огонь не только что сучья развесистые с дерева оголяет, тонкий и красивый ствол обугливает, а даже и в самые корни, какие земля в своей глубине таит, забирается, и выедает он день за днем всю мокроту из тех корней, дабы, оставшись в дереве, та мокрота сызнова его не поправила и не расцветила.

Все мы смотрели и видели, как многие годы тяготела рука Господня над проклятым родом убийцы, как она, попустивши ему возвеличиться над нами, сломила, нам грешным в наставление благое, род его гордый и поставила ниже самых низких...

Только страсть нас всех великая брала, когда, как свеча восковая, таяло это семейство на наших глазах и с каждым годом достатки его все больше под гору уезжали.

Сказываю о том теперь, как это дело началось и чем оно кончилось.

Помню (маленький совсем в это время я был), жаркий такой летний день стоял. Большие-то все после обеда спать разошлись, и один другого тайнее от жара по сенцам, по садам и огородам запрятались, потому что в такой жар никому нельзя на улицу выйти – больно он голову ломит и все тебе суставчики так разварит, что жить тошно станет. Такая-то жуть по всему саду после обеда стоит, словно в царстве каком заколдованном. Только ребятишки одни не спят, да и их голоса не очень слышны в это время бывают, потому и ребятишки от того жара угорают и в холодок куда-нибудь пригочаются.

Вот, сказываю, и я в такой день сидел на своем дворе под сараем и сетку из конских волос для ловли птиц плел. Такою удачливой выходила эта сетка в руках у меня, что, по приметам, не только у воробьев и синиц, а даже и у галок вырваться из нее силы бы не хватило. Придумал я палочку к ней небольшую приделать, чтобы палочка эта птицу, какая в сеть попадет, по голове колотивши, отуманивала и рвать сети той не давала...

Очень хитрая сеть вышла! Когда я так-то пальцем своим примеривал, как птицы будут попадать в нее, до крови мне – первой птице – палочка палец размолотила. Разорвал я эту сеть, палец из нее выдираючи, и другую, без палочки уже, плести стал. Собака тут наша подле меня лежала. Сильно ж ее, надо полагать, оводы и жар пробирали, потому так-то тоскливо стонала она и все пить из корыта, которое к колодцу приделано было, бегала.

Как теперь припоминаю, очень я пристально в дело-то углубился. Грезилось мне, сизые будто бы голуби с золотым отливом налезли ко мне в сетку и так будто бьются в ней и крылами щелкают.

– Пусти, пусти нас на волю, мальчик, – ворковали они. – Мы Божии птицы, ты вон поди у бабки своей спроси, и она тоже скажет тебе, что голуби Божии птицы. Мы, когда Иисуса Христа жиды распинали, мы слетели к Нему на крест и, чтобы Его больше не мучили, всем ворковали: умер, мол, умер – не мучьте; а воробьи-воры, так те всё кричали: жив, жив! Вот ты их и лови, и мучь их – тварей неверных – за Христа. Сорок грехов тебе, все равно как за таракана, за убийство всякого воробушка на том свете простится...

– Ну что ж, – говорю я будто бы голубям. – Ступайте летайте – я вас, пожалуй, выпущу из сети, только вы дайтесь мне по спинкам немножко погладить.

А большой двор с высокими сараями и огородом такими-то сиротами печальными и задумчивыми расстились предо мной, так-то млело над всем, что около меня было, жаркое солнце, что в глазах круги какие-то радужные рябили, когда случаем согласишься, как на желтой верхушке длинного подсолнечника лучи солнца горят.

Горят, жарко горят те лучи, на травинках высоких и низких горят, и как будто играют. Словно как птица какая огненная, летали они по деревьям зеленым, по соломенным крышам, и на всё разлетались от них яркие искры, и все, что видел я, искры те зажигали... Плету я свою сеть, ребячью игрушку, и не знаю, есть ли у меня голова на плечах, потому что вижу я, огненные столбы какие-то с дымом и громом летят по земле и все, что встречается им, беспощадно палят. Полдневная тишь зашумела в ребячьей голове стоном и смятением базарным... Забегали, залетали, зароились по широкому двору и огороду люди какие-то неизвестные. Бледные-бледные все были они, головы свои, будто разбил им кто головы, к грудям они клонили и стонали: «Батюшки, жарко! Сгорим мы сейчас!...»

Смотрю я на тех людей, с ужасом и тоскою смотрю (очень мне жаль их, как они, бедные, в этом жару мучатся), и думаю, как бы и мне не сгореть вместе с ними; а там уж и не помню, как выпала сетка из рук моих, – упал я горячей головой на холодеющий под сараем навоз, и несчетное будто бы множество голубей и всяких птиц, одна другой краше и цветистее, налетели на меня, всего меня собою завалили, и такой холодок отрадный и щекотливый крыльями

своими навевали они на меня, что сердце мое ровно в небе плавало, и давал я в бреду тем птицам обещанье с божбой – никогда не ловить их, а они будто не верили мне и стращали Богу сейчас жаловаться на меня лететь...

Замер я так-то в беспамятстве своем и до слез жалею о том, что птицы не верят мне и что накажет меня за них Господь Бог, ежели я не упрошу их с жалобой своей к Нему не лететь...

– Не летайте, не летайте, – умаливаю я безжалостных птиц. – Сказал, никогда не буду ловить вас, ну и не буду...

А они налетели на меня еще более сплошной тучей, уставились прямо в глаза мне своими светлыми, маленькими глазками и с такой-то угрозой пугающей все в один голос мне говорят: «Нет! Не умолишь ты нас. Молодец был ты сети на нас плести, теперь вот посмотришь, как тебя за нас в аду самого сетью будут ловить. Небось! К той еще похитрей палочку-то приделают, и будет тебя палочка та в голову колотить...»

Вдруг будто бы подо мною расселась земля. Стремглав лечу я в эту расселину, и обдает меня из нее дымом и пламенем серным. Во всей этой пропасти, где я очутился, горел будто бы, как в печи, неугасимый огонь, а в огне летали крылатые дьяволы, точь-в-точь какими их на картинках пишут, и всего меня насквозь прожег огонь этот, а дьяволы, как только увидели меня, все закричали: «Попался ты к нам! Вот мы тебя сейчас проберем! Будешь ты голубей ловить! Давай сюда сковороду, да погорячей, – пусть-ка он попробует, как у нас голубятину жарят...»

Вырваться стараюсь из пропасти, а тут уж сковороду притащили всю красную, и начал один чертеныш голову мне к такой сковороде нагибать, чтобы я лизал ее. Вцепился он в меня острыми когтями и гнет, а сковорода мне губы палит, только вырвался я будто и побежал. «Держи, держи! – заорала нечистая сила. – Голуби! Держите его!» И неоглядной станицей бросились за мной голуби, и всего меня запутали они волосяными сетями и потащили назад, а палочки, какие я приделывать к сетям ухитрился, так-то больно по голове меня колотили...

«Ну, не уйдешь теперь!» – и голуби и нечистые в один голос шумят, и от шума того затряслись стены пропасти и заколыхался, словно живой, огонь, который горел в ней...

Застонал я от ужаса и проснулся. Проснулся, трясусь весь и вижу, что жар уже немного поспал. Куры по двору заходили, воробьи под сараями кое-где зачирикали. Видно, что все это хочет проснуться и не проснется никак, потому очень тяжелый сон наводит жар на мир Божий и долго после того сна стоит тишина и даже словно бы мука какая-то на лице земли-матери примечается...

И теперь так было: задумываюсь я о своем сне, а вокруг меня словно вымерло все. Из самого дальнего угла огорода, где росли разноцветные розы, слышно было, как пчелки звенели и как зеленая саранча шуршала крыльями своими стеклянными.

Чутко ухо ребячье! Помню, заслушался я чего-то в это время и задумался о чем-то глубоко, так что и о сне своем страшном думать почти перестал, только вдруг молчанье наше – и мое и Божье – голос какой-то разрезал, да такой голос унылый и болеющий, об такой скорби и истоме душевной сказал он, что вдруг меня холод по всему телу прошиб.

Волосы у меня на голове поднялись, и глаза выскочить хотели, как этот голос на весь посад выводил: «О-ох-ох», – протянет и вздохнет под конец, так что и вздох-то самый я слышал.

Видно было, что крепкая грудь у кого-нибудь сокрушалась.

Крещусь я так-то и думаю: «Господи! Что же это такое? Кто это вздыхает так больно?» – а сам с места тронуться не могу – перепугался очень.

Смотрю: в подворотню нашу приятель мой Мишутка Кочеток лезет. Пролез это он в подворотню и на одной ножке ко мне и подпрыгивает. (Молодец он был на одной ножке прыгать, дальше Мишутки никто из мальчишек не прыгивал.)

– Что ты, – кричит он мне издали, – сидишь тут? Дворник Липат Семенов умирать собрался, побежим смотреть.

– О-о-ох! Смерть моя! – снова прокатилось по двору.

– Вишь вот кричит как, – рассказывает Мишутка. – Маменька сейчас говорила мне, что Липатка-то – колдун, вот он с душой-то своей и не может проститься...

Побежали мы с Мишуткой на постоянный двор смотреть, как дяденька Липат Семеныч умирает. Приходим – видимо-невидимо народу в избе, и весь этот народ молча стоит, так что слышно было, как мухи жужжали и толстыми туловищами об грязные оконницы бились. Стоит народ и ужасается лютой смерти грешника. Белый, как полотно, лежит Липат в переднем углу, под образами, – сухое и тощее лицо у него сделалось, а смертные судороги так-то сурово сдвинули ему густые брови; но еще суровее и мрачнее глядели на унылую избу святые иконы, ярко освещенные лампадками и восковыми свечами.

Приютились мы с Мишуткой в углу и смотрим.

– Умрет? – спрашивал меня шепотом Мишутка.

– Умрет непременно, – говорю я. – Посматривай, Миша, как из него душа вылетать станет. Сказывали: голубем белым вылетает она из человеческого тела.

– У меня небось мимо не пролетит, – говорит Мишутка. – Я подкараулю... Только ты это верно сказываешь: дедушка мой, когда умирал, так я сам видел, как из него душа голубем улетела... И теперь еще голубь-то этот у нас под крышей живет. Мы того голубя так дедушкой и зовем.

И не одни наши с Мишуткой толки в это время по избе ходили. Советников и советниц всяких, как это живому еще человеку на вечный покой поудобнее отойти, много тут разных стояло.

– Липат Семеныч! – бабочка одна – и в летах уж эта бабочка довольно-таки престарелых была – умирающему самым слезным образом стонет. – Ты бы родненьких-то своих благословил, прощальное бы слово свое родительское сказал им...

– Ох, отойди ты от меня! Без тебя тошно, баба, – через силу отзывается Липат.

– Нечего тут об земном толковать, – с угрозой говорит мещанин Кибитка (на крылосе он всегда первого баса держал), – к небесному ум свой при последнем конце направлять следует. Кайся, Липат Семеныч, при всех православных, кого ты когда и чем обижал, вслух; а ежели вслух совесть зазрит, в душе кайся – это все единственно...

– Ох! Много я народу на своем веку изобидел, дорогие мои! Всего теперича не упомянешь, – болезнь великая душу мою гнетет, – говорит больной.

– Нечего, нечего тут стоять, господа! Не до вас теперь, – вступается брат Липата. (Из Коломны он нарочно приехал, как только про болезнь братнюю ему написали.) – Уходите, православные.

– Истинно, истинно уходить пора, – доканчивает Кибитка. – Во всяком доме своему горю подобает быти. Всякому своя возня и обуза...

Никто, однако ж, не уходил, только немного потоптались на месте и остались опять слушать последние стоны и смотреть на последние движения умирающего тела.

– Брат! Позови Ванюшку сюда, – слышим мы, говорит Липат. – Чую: близок конец мой! Надо ему в самом деле мне наставление дать.

Привели Ванюшку. Все семейство стало около лавки умирающего большака и ожидало, что скажет сиротам своим мудрость его житейская.

– Прощайте, други мои, – начал старик. – Грехов и всяких злых дел много я на своем веку сделал. Для вашего блага я делал их, все о вашем счастье заботился, так вы помните это и молитесь за мою грешную душу. Может, Бог и простит меня по вашим молитвам. Вот я вас сиротами оставляю малолетними, так вы дядю слушайтесь, пока сами неразумны; а ты

призри их, братец, Христа ради. Видишь сам, какие они у меня: мал мала меньше. Призришь? Побожись мне в этом на святые иконы!

– Призрю, – отвечает коломенский брат. – Покарай меня Царица Небесная, – все равно как за своими родными детьми буду глядеть за ними. Анафема-проклят буду, ежели дам их злым людям в обиду, – завершает он, делая пред образами земные поклоны.

– Смотрите вы у меня, мелюзга, – продолжал больной, – старшего брата, как меня, слушайте. Не то счастья вам у Бога не вымолю, а ты, Ванюшка, люби их, оберегай, – ты ведь теперь наибольшим в доме останешься. Будешь?

– Буду, тятенька, – отвечает сквозь слезы Ванюшка, тот самый Иван Липатыч, о котором я вам в прошлый раз рассказывал.

– Побожись, Ваня, что точно меньших братьев своих и сестру обижать ты не станешь?

И Ваня тоже трижды три земных поклона совершил пред ликами Божиими и тоже на голову свою молодую кару Царицы Небесной призвал, ежели обещанья, данного отцу на смертной постели, он не исполнит.

– Вот смотрите, христиане благочестивые, при всех при вас говорю, – обратился Липат к стоящим соседям. – Детям моим капиталу моего двадцать тысяч на ассигнации оставляю, на храмы Господни три тысячи, тысячу служителям церковным за помин моей души окаянной. Ванюшка! Принеси из-под кровати сундучок мой. Видишь, Ваня, сколько тут денег? Ты и руководствуй ими, без обиды руководствуй, потому ты теперь старшой в доме. Брат! Смотри же, не оставь на поруганье своего рода.

– Сказано!

Все в это время двинулись к сундучку и смотрели, как дядя Липат свертки денежные развертывал.

– Для того объявляю, – говорил он, – чтобы сирот моих не ограбил кто... Заступитесь тогда за них, други мои, по-христиански, хлеб-соль мою соседскую поминаючи.

– Заступимся, Липат Семеныч, беспременно будем все за твоих сирот заступаться.

– О духовном-то хлебе пекись, сосед, – советует басом Кибитка. – Его-то побольше заberi в свою дальнюю дорогу, а про сирот нечего говорить. У них у всех вообще Бог да добрые люди заступники.

Смертное томление, видимо, с каждой минутой овладевало Липатом. Щеки его вытягивались длиннее и длиннее, морщины, ровно глубокие борозды, заходили по широкому лбу, а брови сурово всщетились в одну шершавую линию, как огородная грядка, обитая сильным градом.

– Ох, тяжела ты, моя постелюшка смертная! – жалобно стонет Липат и руки свои то над головою высоко поднимет, то вдруг на грудь их плетью опустит.

Звонко ж хрустели и шелкали пальцы у него, когда он, тяжкой боли не вытерпев, ломать их принимался.

– Дайте, Христа ради, водицы испить, жгет меня всего, – умолял Липат. – Да пошлите за батюшкой-священником, – свету в глазах моих не стает.

Все с этим словом почуяли, что пришла и невидимо стала около больного страшная смерть. Воцарилось в избе что-то такое тайное и грозное, от чего поневоле содрогалась душа человека.

Все лица отуманились в эту минуту такой тоской и печалью, как будто о том, что собственная их жизнь прекращается, тоскливый гул от плача сиротского как-то особенно дико раздавался в избе, и все это завершалось тихим шепотом соседей и последними столами больного.

Наконец пришел священник. С появлением его все умолкло, и только одна маленькая дочка умирающего, наученная бабенками, безуданно выла около отцовской постели.

– Что, Липат Семеныч, – спрашивает священник, – плохо тебе?

– Плохо, батюшка, страсть как плохо! Свету в очах не стаёт. Как бы мне Царствия Небесного, святого причащения не успевши принять, не лишиться, – отзывается Липат.

– Подкрепи тебя Господь и помилуй, – утешает его батюшка.

Пелись и читались тут святые молитвы в напутствие души отходящей – так жалобно, так грустно, что Мишутка Кочеток и говорит мне:

– А ведь эдак и над нами жалостно читать будут, когда мы умрем?..

– Будут, – отвечаю я, а дым от кадильного ладана такими-то струйками душистыми носится по избе, так-то те струйки расцветил луч солнечный, бывший в окошко, что без думы пальцы в святой крест слагались, а уста творили молитву на счастливую дорогу душе, оставляющей землю родную.

– Выходите, православные, из избы, – говорит священник. – Сейчас, исповедь начну.

– Выходите, господа, выходите, – повторяет коломенский брат.

– Идите, идите, братцы, – слышится в толпе. – Исповедь начинается.

– Нечего нам чужие грехи слушать, своих у каждого много, – сердито рассказывает всем Кибитка, отворяя дверь.

– Как же это? – спрашивает меня тихим шепотом Мишутка Кочеток. – Ведь эдак мы, пожалуй, и не увидим, как из дяденьки душа вылетать будет.

– Не увидим, потому он без нас, пожалуй, умрет.

– Валяй на печь, покуда народу много, оттуда будем глядеть...

Вышел народ, и опять в избе встала безответная, пугающая тишь. Слышался тихий голос священника, мир и надежду грешной душе возвещавший, а на него отзывался тяжелый, одно и то же все время повторявший стон:

– Грешник я, батюшка, великий грешник!

И наконец началась молитва, готовящая человека к примирению с Богом. «Верую, Господи, и исповедую», – тихо и внятно шепчет священник.

– Верую, Господи, и исповедую, – без боли в голосе и радостно повторяет Липат.

Забыли мы с Мишуткой, что втайне оставаться должны, и тоже на печи промеж себя говорим: «Верую, Господи, и исповедую...»

Освещенная лучами солнца и мерцанием лампад и свечей, горевших пред иконами, блеснула святая дароносица, и светлые лики, вычеканенные на ее серебре, передали как будто свой свет и свою радость и принявшему благодать Божию, и тому, кто ее передавал...

– Подкрепи тебя и помилуй Господь, – снова сказал больному священник и вышел; а мы с Мишуткой все сидим на печи и ждем времени, в какое белым голубем вылетит душа из Липатова тела.

Почти уж стемнело, а мы с Мишуткой все еще сидели на огромной печи постоянного двора, и чем гуще становились сумерки, тем яснее лампадки и свечи, горевшие в переднем углу, освещали нам лицо Липата. Мы могли видеть все судороги, которые пробегали по его лицу, белому как снег, и, как нам никогда еще не приходилось видеть страшных картин смерти, мы, несмотря на весь страх, который вселяли в нас и стоны больного, и изменения в лице его, с твердой надеждой ожидали, когда белый голубь оставит его страдающее тело.

– Мне уж есть захотелось, – шепчет мне Мишутка. – Не слезать ли нам с печи-то? Должно быть, дяденька не умрет нынче...

– Нет, погодим крошечку. Беспременно он ныне умереть должен, – утешаю я Мишутку, никак не покидая заманчивой надежды увидеть белого голубя.

– Братец, а братец! – кличет Липат. – Подойди-ка ты поближе ко мне. Я тебе скажу кое-что.

– Что тебе, водицы, что ли, испить дать?

– Нет, не водицы. Не водица теперь мне нужна. А вот я вам расскажу лучше, как человек грешен и слаб бывает. Я вот вас всех до последнего моего часу обманывал и себя обманывал:

думал, что выздоровею. В этой надежде даже до принятия Святых Даров находился, теперь уж чую, что не встать мне с одра моего, потому всего меня судороги исковеркали, ровно они мне от сердца что-нибудь оторвали, без чего человеку жить невозможно. В пятьдесят пять лет, кои я, милый братец, на сем свете прожил, хорошо узнал я норов людской. Ванюшка! Выгони-ка из избы мелюзгу-то, а сам с дядей останься да пристальней слушай, что отец тебе в последний раз скажет. Любит норов человека ближнего своего ограбить, вдов притеснить, сирот беззащитных всячески обижать (сам я это на себе испытал). Тот норов качает тебя против воли из стороны в сторону, словно как бурливая река лодку легкую... Знаю его – норов-то этот, сказываю вам, а потому слушай, Ванюша, и ты, братец, слушай: из капитала своего давеча самую малую часть я объявил. Людские глаза, милые мои, на чужие-то капиталы – ох, как завистливы!.. Милый! Братец ты мой единоутробный! Не покорыствуйся ты моим добром, сирот моих не обидь, вспомни, как мы сами после тятеньки сиротами горемычными остались, – ведь у меня в амбаре под овсом сто тысяч на серебро в горшках уложены... Братец! – завопил опять Липат так же болезненно и страшно, как страшно кричал он в полдень, когда я впервые услышал его. – Не ограбь детей, ради Христа, не ограбь, – я тебе из того капитала пять тысяч серебром отказываю...

– Не надо мне твоего, брат! Не обижай меня занапрасно. Ты только скажи, как их найти в амбаре, – как бы не расхитили.

Чуть было мы с Мишуткой не соскочили в это время с печи, потому что, ровно гром, голосом своим больной прокатил по избе и весь скорчился в толстый клубок.

– Гони мух из овса! – кричит он так, как от него никогда не слышали. – Деньги они у меня все поедят... Обступили всего меня черные псы, обступили с огненными глазами. Отгони, братец, от меня черных псов, – Ванюшка с ними не сладит. Востры у них когти-то очень, грудь они мне всю разорвали и огня туда наложили. Деньги, братец, с сиротами с моими пополам раздели, только не грабь их. Бог взыщет с тебя, ежели их ограбишь... Это я тебе верно говорю... Вон, вон со двора, владимирец, ты у меня жену отнял, я тебя за это и убил, а не за деньги. У меня своих сто тысяч в амбаре под овсом лежат. Ох! Изъели меня совсем черные псы, внутренности мои все из меня вон они вытащили. Отгоняй, отгоняй их от меня, брат! Мы ведь с тобой единоутробные...

– Ванюшка! – говорит коломенский брат. – Поезжай скорей к становому в стан – объявить ему об отцовских капиталах следует, а то обкрадут нас.

Обманул неразумного мальчишку дядюшка хитрый да в амбар скорее. «Я, – говорит, – Ванюшка, караулить деньги буду».

Спугнула нас с Мишуткой эта суматоха с насести. Со всех ног бросились было мы домой бежать, голубя не дождавшись, и только когда мы по переулку, в какой одна сторона Липатова амбара выходила, на всех рысях скакали, рев как бы скота какого услышали.

Много щелей в сельских амбарах, так мы с Мишуткой взяли себе по щелке и смотрим, что такое делается в амбаре.

– Не бойся, – говорит мне шепотом Мишутка, – это, должно быть, доможил⁶ об хозяйской смерти плачет и убивается.

– Нет, я не боюсь. Только ты не мешай мне смотреть.

И руками и ногами коломенский брат разрывал Липатов овес, а сам урчит даже, как голодный медведь, досадовал, должно быть, что не скоро овес разрывается...

Только дорылся он и до горшков с деньгами, и почал он те деньги и в мешок сыпать, и в карманы класть, и рот даже себе набивал ими, а сам все урчит...

Вдруг остановился он, и видно нам, как глаза у него в темноте, словно дерево гнилое, светятся. Остановился и задумался. Слышим мы, как он сам с собою говорить начал:

⁶ Доможил – домовый.

– Господи! Что же это такое делаю я? Ведь я сирот граблю, брата своего единокровного, у малолетних сирот имение ворую. Сгинь, пропади, искушение дьявольское!

И начал он сызнова деньги из мешка вытрясать и в горшки опять класть...

– Ограбят, ограбят сирот – и без меня все у них уворуют. Лучше ж я возьму у них и помогать им буду в их малолетстве.

И он начал опять набивать деньгами свой мешок и карманы и опять заурчал по-медвежьему...

– Вырастут, я им выплачу, сколько возьму теперь, а то их и без меня обворуют. Вот он, брат-то, что про норы людской говорил. Ограбить мы любим, сирот и вдов притеснить тоже любим... Во гресех зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя...

Вечером я и говорю маме:

– Мама! Слушай-ка, что я у Липата Семеныча – покойника – в амбаре ныне видел.

– Что? – спрашивает она.

– Брат-то его коломенский деньги у него все из-под овса повыкрал.

Придралась мать ко мне в это время, что я грамоте не учусь, а только с мальчишками по улицам бегаю, сломала с лозины жидкий прут и, когда прут тот она об меня обламывала, вот что говорила: «Не в свои дела не суйся, – чего не знаешь, того не болтай, в щели за людьми не подглядывай...»

После с Мишуткой Кочетком долго мы рассуждали, какие дела наши и какие не наши, что мы знаем и чего не знаем, отчего в щели подсматривать за людьми нельзя, а главное, зачем и моя и его матери запретили нам строго-настрого никому о том, что в амбаре мы видали, не рассказывать.

Ничего, однако ж, мы с ним в этот раз не решили. Я по-прежнему стал у него учиться на одной ножке прыгать, он у меня – бумажные змеи клеить, точно так же как история эта опять потянулась своим чередом (каким именно – расскажу сейчас). Только мы с Мишуткой давно уж на одной ножке прыгать перестали, знаем, какие дела наши и какие чужие, и только одна она и теперь еще по-прежнему идет теми же ногами, на каких более, нежели за двадцать лет перед этим, вышла на свой путь-дорогу. Почти уже кончилась теперь эта история, смотрят на конец ее другие ребятишки, прыгая тоже, как и мы с Мишуткой в старину, на одной ножке, но и они тоже, как и мы, войдут в разум и будут ходить на обеих ногах, а едва ли и к этому времени истопчутся ее старые, грязные ноги...

Нужно, однако ж, чести приписать коломенскому брату. Умеючи он распорядился капиталом, какой у сирот-племянников своровал. Приписался он в наш город в купцы и, по подмосковной сметке своей, такую широкую торговлю повел, какой наши степняки-домоседы и во сне не привидывали. Подтрунивали у нас поначалу-то над коломенцем довольно-таки веселенько, как он, ровно угорелый, по губернии метался за всем: то гурт – тысяч в десять голов – соберет и в Москву отгонит, то тысяч пятьдесят четвертей хлеба всякого в Петербург или в Одессу спроводит, и так-то он всех наших торговцев плотно к ногтю прижал, что без него никто ни в какое дело пускаться не смел, потому во всякое время каждого он задавить мог...

Вздумает кто из мещан сад или бахчи снять, его не минет, так как мог он и денег тебе для твоего дела дать, и самое дело это разбить, да не сам еще, а руки такие у него были, какие, может, верст на сто вокруг все захватывали, и мимо тех рук, как в сказке говорится, ни птица не пролетывала, ни зверь не прорыскивал...

Трунили, опять сказываю, наши степняки весело над коломенцем, как он ухнет, бывало, тысяч сто барыша с хлебной партии, да вдруг со всей губернии лошадей оберет, да еще столько же от них в сундук призоложит.

– Што-то, брат, длиннорук ты больно? – купцы про него меж собою толкуют. – Не угорел как бы ты, любезный! Посмотрим вот, долго ль ты провоеешь на награбленные деньги?..

– Так и так, – коломенцу, бывало, подслуживаются, – на базаре про вас говорят: как бы, дескать, не прогорели вы.

Усмехнется он так-то шутливо на такую речь и рукой махнет. «Ну их, – скажет, – к лешему, идолов пузастых! Знают они, куроеды глупые, как про такие дела рассуждать?»

И точно, никак не могли наши купцы понять и рассудить, какому Богу молится коломенец об счастье своем. Пробовали они собираться против него, чтобы хоть сообща силами с ним поравняться, – тоже ничего не вышло, кроме как многих из них за злые умыслы против него без пощады он в трубу пропустил, как есть нищими сделал.

После таких отпоров приуныли наши торговцы. «Нет, видно, надо покориться ему», – придумали они и решили, что, должно быть, великий колдун коломенец, потому не иначе как черт в уши ему шепчет, когда и сколько чего купить следует и когда что продать...

А он, не более как лет шесть жития его прошло в нашем городе, всю большую улицу каменными домами застроил. Такие-то чертоги повывел, полков пять бы в них досыта ужилося. Сказывали, если не врал, что через шесть-то лет в десяти миллионах уже обретался.

И такой ли старичина этот коломенский чудодейный был, рассказывать про него начнут, так только со смеху лопнешь, слушая про его затеи, и ни за что им не поверишь. На старости лет-то своих, про него по городу говорили, вздумал он книги читать учиться (не умел до этого времени грамоте) и не только что одни русские книги разбирать старался, а и чужие языки полез. Французов и немцев разных из Москвы с собою навез и ими чертоги свои населил. Детей они у него на разных языках учили говорить и самому ему, сказывали, во многом на свой ненашинский лад советовали. Прошла тут молва про шального старика, что будто он в чужие земли хочет ехать, затем аки бы, чтобы перенять, как в тех землях за овцами ходят и фабрики суконные как устраивают, но это он врал. У Бо-га-то не украдешь: всем известно было, что это он затем туда едет, чтобы веру свою крещеную переменить и совсем черту отдался, дабы еще богаче быть...

Некогда же было коломенцу эти слухи слушать. Пустыми он их и дурацкими вслух всегда без всяких обиняков обзывал. «Дела настоящего нет у людей, – говаривал он, – так они рады зубы точить. Кто себе дело по своему разуму приискать может, тот не станет, скуки своей ради, всякую ерунду говорить».

И все мы видели, как он по своему великому сурьезу никогда пустяков не толковал, и хоть было ему лет под шестьдесят, однако ж на работу и на всякую выдумку разумную такой был завидуший и способный, хоть бы и молодцу какому удалому так в пору бы. Умел он наш город глухой и неудачливый на настоящую ногу поставить, так что начальство, ради просьбы его, ярмарку в нем открыло. (Большая ярмарка теперь разрослась...) Собор на базарной площади, вместо деревянной, маленькой церкви, такой соорудил, что из чужих городов обыватели приезжали планы с него снимать. И не только что он так-то приятно свои дела вел, а и племянников своих не забыл, по обещанию своему. Самых маленьких-то к себе в город взял, и все равно они у него как собственные дети, за один счет шли. В одних платьях ходили, у одних учителей учились, и даже, правду-то говорить, и над ними, все равно как над детьми коломенца, по городу смеялись: вот, дескать, купецкие, племянники, мужиковы дети, наравне с барчатами хотят быть – разным языкам учатся. Хорошо теперь из лаптей-то в сапоги обуваться, а как из сапог-то в лапти придется?.. Как бы тогда по-волчьи заголосить не пришлось, даром что не учились по-волчьи-то...

Много так-то толковали, много злобствовали наши горожане на коломенца, глядячи, как счастье его с каждым годом, ровно дерево на хорошей земле, разрастается, и в головы его градские выбрали. И по всей тогда степной стороне разошлась великая слава про коломенца, какой-де такой мочный он купец есть (губернатор ни к кому, кроме его, обедать не приезжал, когда в городе нашем ему быть надобилось), а там, немного погодя, слышим мы, что первый во всей нашей губернии богач – это Кирилла Семеныч Молошников, первой гильдии купец

и потомственный гражданин (все равно, примером, что и дворянин всякий), и что, слышно было, царь его будто к себе на лицо требует – посмотреть на такого разумного мужика...

И не успели мы осмотреться, как Кирилла Семеныч гнездо себе в нашем городе свил. Вот какой прокурат этот подмосковный народ! Там, говорят, все такие хитрые. Только беда наша, ежели их много наедет к нам в степь, потому они у нашей простоты великие молодцы хлеб отбивать, а доброму-то от них чему-нибудь научиться – надвое бабушка сказала. «Пожалуй, говорит, что-нибудь и переймете, ежели сами умны будете...» Вот оно что!

В то время как Кирилла Семеныч свои делишки по малости обделывал, и Ванюшка тоже Липатов рос, не дремал и под дядиным крепким надзором великой докой торговою быть навастривался. Такой ему дядя-то в Чернополье у нас постоянный двор сбрыкал, с особенными комнатами для господ, какого мы и слухом не слыхивали.

Спрашивали наши дворники:

– Для чего это ты, Кирилла Семеныч, таких покоев в доме настроил?

– А вот, – говорит, – после увидите для чего. – И смеется.

– Посмотрим, известно, посмотрим. Затеяник ты, видим, здоровый. Как бы тебе затея-то эти в карман не плюнули.

– Небось! – шутит коломенец. – Все Бог!..

– Увидим, увидим, что будет.

И в скорости же увидели дворники, как они без хлеба остались, потому и извозчики, и господа, и купцы – все на новый двор повалили. Лестно всякому на тот двор было взехать, – харчевня чистая такая открыта была при нем (у нас, пожалуй, до того времени харчевен по селам и не бывало!).

Пошли себе наши дворники такие же дворы строить, с харчевнями и с особенными комнатами (переимчив народ у нас!..), только тоже мало барышу и с этого набрали они. Одни слезы и разоренье те постройки им принесли, потому, первое дело: очень уж много таких домов развелось, ходить в них народу недоставало, а другое: пока они раздумывались да строились, проезжий люд к новому месту привык и облюбовал его. Такие-то вон они хитрые, эти коломенцы-то!.. Нашему брату, простому человеку, связываться-то с ними вряд ли приходится...

Таким-то манером обстроились дядя с племянником в нашем уезде. Один в городе всем заправлял, другой над селами властвовал. Истинно: из молодых, да ранний этот Иван Липатов был. Тот хоть на честь все больше свои дела вел, умом своим обдумывал их и умом же к концу благополучному приводил, а Ванюшка-аспид – точно, неглупый мужик, а куда послабее дяди разумом вышел, – так тот все обманом да силой норовил наживаться. Видели ведь вы, как он с мужиками за хлеб рассчитывался; а теперь я вам скажу, как Господь Бог за неправедные дела злых людей рассчитывает, как Он дома их, как бы они крепко на сей земле ни стояли, мощной рукой Своей рушит и от жилищ нечестивых камня на камне не оставляет.

Маленьким еще был Иван Липатов, а уж душил и взрослых даже здорово. Все они с дядей забрали в свои крепкие руки, и так-то туго было тем, кто в руки к ним попадался, что уж на что выносливы и смиренны люди у нас на степях, а зло на грабителей своих все большое имели и всякую скаредную штуку, ежели тайно сделать можно было, на вред и на зло им подгонять старались.

Оброс в таких делах наш Ванюшка бородой густою, и женил его дядя. Проживала у нас в Чернополье бедная дворянка одна, так они у ней дочь подцепили – за одну только красоту лица, без приданого, взяли. А долго ж таки упиралась невеста, не шла за Ивана, потому на поповиче одном, почитай, совсем сговорена была.

О чем бы больше тужить, кажется? Есть жена молодая, по любви и нраву сосватанная, капиталы свои немалые есть, дядя первый по губернии богач, братья и сестры-сироты не забавлялись без призору, в своем сиротстве проживая, а в добрые люди выросли, помощниками в дому исправными сделались, – живи бы, кажется, поживай да добра наживай, а худо сбывай.

Только нет! Не туда повернула воля-то Божия. Знает она, куда какого человека повернуть следует. Заслужил ты – на гору она тебя вознесет, проштрафился – под гору, и знай ты, человек, никто и никогда не удержит тебя на той дороге, по какой она тебя повести возблаговолит...

Было над чем подумать разумному человеку, было чему поучиться, глядя, как семья самая богатая, самая что ни есть крепкая семья, гибла и пропадала, как дрянной червяк капустный, и уж не досадно бы стало, ежели бы они все глупы были, а то ведь один одного, как на подбор, умнее; а видеть и понять того, что сами они от себя пропадают, сами на себя свои же руки накладывают, никак не могли.

«Погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну», – Господь-то сказал. Мы вот поглупей, может, самого глупого из той семьи были, а видели же, как Господь очи им заслепил, чтобы не видеть им, как они к своей гибели идут, – и от гибели той остережись им никак невозможно было.

Горько же, думаю, молодой Ивановой жене – столбовой дворянке – в дворничихах пришлось. Пошла она, бедная, на чужом-то дворе, от своих мамушек, нянюшек и сенных девушек, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Везде все молодая хозяйка надобилась. Озлится, бывало, Иван Липатов на младших братьев (двое еще было их, такие-то ли раскачни-головки!), начнет их колотить, поминаючи им дело их какое-нибудь разухабистое, – молодая и перед братьями, и перед мужем виновата, потому, думают братья, что это она на них мужу наслетничала, а у мужа, известно, нет ближе и безответнее, кроме жены, человека, на каком бы можно и поскорее было и без опаски свое зло сорвать.

Живучи у своей старухи матери тихо да смирно, воды не замутивши, дивилась только сначала молодая на новое житье, словно зверь лесной, лютное и беспокойное, а потом, когда Иван Липатыч, по братниным словам лживым, раз-два, а может, и три дюжей ладонью ошельмовал ее белое личико барское, глубоко она сердцем своим заскорбела и ужаснулась, потому явственно увидела она тогда, что в высоких хоромах, где ей жизнь свою коротать привелось, живут те же мужики необразованные, какие и в курных избенках век свой валандают, только денег у заправских-то мужиков поменьше да руки, от тяжелых трудов уставшие, полегче жирных купеческих рук будут...

Вот, рассказываю, какое нелегкое узнала молодая про мужа и про семью его – и заскорбела, только же не было у ней, горемычной, ничего, что бы скорбь ее хоть на самую малость умалило. С каждым днем судьба ее несчастная все больше и больше ей горя подваливала. Лиха беда начать только мужу над женой лютовать, а там уж привыкнет он душу свою слезами жены отводить, и к легкому и тяжелому заодно он сумеет придраться и злость свою над мученицей женой утишать.

Так и тут: разозлит Ивана Липатыча мужики на базаре, придет он домой, и все у него в дому не по нем сделалось.

– Что, – скажет, – барыня-сударыня, али у вас белые руки отсохли, что по горницам ровно черти играли? Отчего вы, барыня-сударыня, рук ни к чему не прикладываете? Али работой, по барству своему, брезгаете? Заставлю я тебя, белоручка, как надоть, хозяйством займываться, – будешь ты у меня извозчиком в избе вместе с работницей есть давать.

Смотрит на него молодая, а у самой слезы из глаз – и ведь не то чтобы муж, не любивши ее, бранил, а так уж это исстари заведено острастку жене каждый день задавать, а то она любить перестанет... Это верно!..

– Смотри, баба, поморгай ты у меня еще глазищами-то своими совиными, я тебя утешу! – и вчастью, бывало, возьмет да на самом деле ее и утешит...

Знаючи ее в девках, какую она тогда бойкой да веселой была, теперь не увидишь и не узнаешь в ней прежнюю барышню. Никакого обличья старинного, девичьего, в ней вскорости после свадьбы не осталось. Сидит, бывало, без мужа по целым часам, ни с кем слова не вымол-

вит и только глаза (большие у ней и красивые такие глаза были) на одну какую-нибудь стену без отдыху и таращит...

Стали в это время бабенки наши пошептывать меж собой: с ума, мол, сошла Иванова молодая, по целым дням ни с кем слова не молвит.

– Ну, этого вы не толкуйте, золотые мои! – мешанка одна, приживалка такая убогая, объяснила однажды подругам. – Не с чего ей с ума-то сходить. А я вам вот что скажу, вот отчего она неразговорчивой сделалась (только смотрите, не выдавайте вы меня, Христа ради): пить она стала. Как муж в лавку уйдет, она и за рюмку. Вот отчего не говорит она – язык, значит, к горлу прилип...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.